



ЭЛЬЗА ВИНТЕР

ТЕНИ БЕРЛИНА

◆
Некоторые тайны
следуют за тобой.
◆

Роман о любви, тайнах и свободе.

— Том 2 —

18+

Эльза Винтер
Тени Берлина. Некоторые
тайны следуют за
тобой. Роман о любви,
тайнах и свободе. Том 2

**Серия «То, что между нами. Романы
о любви, тайнах и свободе.», книга 2**

<https://litres.ru/74606679>

SelfPub; 2026

Аннотация

Жасмин уезжает из Дохи в Берлин — без охраны, привычной роскоши и гарантий, зато с шансом впервые самой выбирать, как жить и кого любить.

Рядом Адриан, маленькая квартира и красная герань на балконе. Кажется, прошлое осталось за тысячи километров.

Но загадочные звонки, документы влиятельной семьи аль-Танни и Амир, связанный с её прежней жизнью, возвращают Жасмин к тайне, которую слишком долго скрывали. За семейными секретами стоят чужие решения, сломанные судьбы и правда о женщине, которую Жасмин называла матерью.

Чтобы узнать правду о Мариам, ей придётся решить: оставить прошлое за закрытой дверью или самой войти туда, откуда когда-то бежала.

«Тени Берлина» — роман о любви без права собственности, семейных тайнах и свободе, за которую приходится бороться.

Содержание

Введение	5
Глава 1. Город, который называется как пончик	6
Глава 2. Немецкий язык	23
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Эльза Винтер Тени Берлина. Некоторые тайны следуют за тобой. Роман о любви, тайнах и свободе. Том 2

Введение

О персонажах и совпадениях.

Все персонажи и события этой книги вымышлены. Любые совпадения с реально существующими людьми случайны. Названия реальных мест (Москва, Доха, Берлин и другие) используются как художественные декорации.

Глава 1. Город, который называется как пончик

Жасмин:

Когда самолёт пошёл на снижение, Берлин лежал под серым небом плоский и бесконечный, как стол, накрытый кем-то терпеливым, — леса, поля, ленты рек, вкрапления крыш, — и я повторяла про себя название города, как новое слово, которое нужно запомнить с первого раза, потому что от него теперь зависела вся моя жизнь, — Берлин, — и не знала ещё, что так же называется пончик с вареньем, что город этот носит имя круглого и сладкого и что это смешное совпадение окажется важнее любых карт и расписаний. Четыре с половиной тысячи километров остались позади, и где-то на другом конце этого расстояния осталась Доха — жара, мрамор, кондиционеры, чужие голоса, — и я впервые за семь лет летела без мысли о том, когда и зачем придётся вернуться, и от этого воздух в салоне казался другим, хотя это был обычный воздух, которым дышат все. Стюардесса улыбнулась мне, проходя по проходу с подносом, — просто так, без расчёта, я успела удивиться, — а потом колёса ударили о мокрый асфальт, самолёт затормозил, и весь этот долгий путь из одной жизни в другую закончился так же просто, как заканчивается всякий полёт: гулом, толчком, тишиной.

В аэропорту меня никто не встречал, и это было странно и сладко: в Дохе меня встречали всегда — водитель с табличкой, тёмная машина, охранник, который нёс чемоданы, — а здесь я сама катила свой чемодан по мокрому асфальту, и ветер пах дизелем и мокрой листвой, и этот запах казался мне вкусом свободы, хотя свобода, наверное, пахнет каждый раз по-разному, а я просто ещё не знала, какая она будет у меня. Таксист оказался турком, старым, молчаливым, с седыми бровями, и, когда мы выехали на широкую дорогу, из его магнитолы зазвучала арабская песня — старая, надрывная, с той тоской, которую узнаёшь за одну секунду, — и я отвернулась к окну, чтобы он не увидел, что я плачу, хотя плакала я от неожиданного родства, а не от боли. Он спросил по-английски, откуда я; я сказала, что из Катара; он кивнул, как будто это всё объясняло, и больше мы не разговаривали, и это было хорошо, потому что я не знала, как рассказать человеку, которого вижу первый и последний раз в жизни, куда я еду и зачем.

Нойкёльн встретил меня жёлто-белыми фасадами, балконами, завешанными бельём, граффити на трансформаторных будках и запахом кебаба, который висел над улицами, как доброе тёплое облако, — у этого района было лицо, а не витрина, и я сразу почувствовала себя не туристкой, а будущей жительницей. Наша улица называлась Зонненаллее — Солнечная аллея, — и я долго стояла и смеялась этому названию, глядя на серое октябрьское небо, а потом переста-

ла, потому что поняла: в этом городе всё называется не так, как выглядит, и это, наверное, и есть его честность. Дом был старый, с высокими потолками и широкой лестницей, которая пахла чужими жизнями — кофе, капустой, табаком, стиральным порошком, — и, пока я поднималась на четвёртый этаж с чемоданом, из-за дверей доносились телевизоры на турецком и арабском, плач ребёнка, смех, чья-то ссора, — и мне было спокойно оттого, что здесь так много шума, потому что шум этот был чужой, не мой, и ни один голос не ждал от меня ответа.

Адриан открыл дверь раньше, чем я поставила чемодан, — он, видимо, ждал у окна, — и мы стояли в прихожей, и я смотрела на него и не могла поверить, что этот человек, которого я знаю меньше двух лет, — это вся моя новая жизнь, целиком, в одной квартире с окнами во двор. Он похудел, руки у него были в царапинах от коробок, и он сказал: — Здравствуй. Я повесил шторы, но, кажется, криво. Шторы его не волновали, я это знала, он просто не умел говорить о важном иначе, и я ответила, что кривые шторы — это правильно, потому что у нас всё будет немного кривое, зато наше, и он обнял меня так, что чемодан упал набок, и в этом объятии был запах новой квартиры — краски, картона, чужого мыла, — и я подумала, что привыкну и к нему, потому что привыкаешь ко всему, что пахнет началом.

Квартира была пустая и светлая, с лепниной на потолке, с кухней, где помещались только стол и две табуретки, и с

балконом, который выходил во двор, — и на балконе, в облупленном красном горшке, стояла герань, живая, яркая, с цветами, горевшими в серости дня, как маленькие костры. Её оставила прежняя квартирантка, сказал Адриан, увезти не смогла, поливали её, кажется, соседи, — и я сразу поняла, что это наш дом, потому что дом начинается с того, что в нём кто-то до тебя уже растил красное. Я разбирала чемоданы долго, нарочно, растягивая удовольствие, как разворачивают подарок: вынимала книги и ставила их на полку, вешала платье в пустой шкаф, где пахло деревом и чужой жизнью, а фотографию мамы поставила на подоконник, лицом к улице, чтобы ей было видно город, — и от этого маленького жеста мне стало легче, будто я перевезла не вещи, а охрану. Вечером мы сидели на балконе, пили чай из двух одинаковых кружек, которые Адриан купил в магазине за углом, потому что одинаковых кружек у нас ещё не было, и смотрели, как во дворе зажигаются окна, одно за другим, как будто кто-то невидимый шёл по этажам и зажигал за нас чужие жизни, и герань стояла между нами и молчала, и в этом молчании было больше дома, чем во всех словах этого дня.

Первую ночь я не спала, и не потому, что было неудобно, — матрас лежал прямо на полу, спальный мешок пах новой тканью, — а потому, что тишина была другая, не такая, к какой я привыкла. В Дохе тишины не было вообще: город гудел сквозь стены пентхауса на пятьдесят четвёртом этаже, кондиционеры дышали в такт, лифты поднимались и опуска-

лись, прислуга ходила по мрамору беззвучно, и тишина там была не тишиной, а паузой между голосами, короткой, настороженной, как дыхание перед ответом, — и я научилась не доверять ей. Здесь, в Нойкёльне, тишина была полной и честной: дом поскрипывал, трубы что-то бормотали, где-то далеко под землёй проходил поезд, и гул его был ровным и надёжным, как чужое сердцебиение, в котором нет ничего личного, — и от этой тишины мне хотелось плакать, потому что она не требовала, чтобы её слушали. Я встала и проверила дверь: замок, цепочка, ещё раз замок, — так делала всегда, и Адриан поднял голову с пола и сказал: — Дверь можно не запирасть. Здесь не запирают от страха, а запирают для порядка. Я хотела возразить, что меня учили запирасть от страха, и семи лет такой учёбы хватает на всю жизнь, но он уже закрыл глаза, и я села на пол у двери, прижалась спиной к косяку и впервые за долгое время подумала, что замок — это не то, что меня спасёт. К утру я уснула под балконной дверью, которую он открыл настежь, и во сне мне снилась Доха, но она отступала, как вода, которой не хватает берега.

Первые дни я почти не выходила из дома, и это были не страхи, а жадность: мне нужно было надышаться квартирой, привыкнуть к тому, что она никуда не денется, что её не отберут и не обменяют на другую, что дверь, которую я открываю утром, — это моя дверь, а не пропуск в чужую жизнь. Я поливала герань и разговаривала с ней шёпотом, по-арабски, потому что это был единственный язык, на котором цветок

мог бы меня понять, и пересадила её в новый горшок, купленный у цветочницы на углу, — женщина долго объясняла мне что-то про дренаж, я не поняла ни слова, но кивнула, и мы обе остались довольны. Адриан уходил в клинику рано, на велосипеде, и я смотрела из окна, как он крутит педали, узкий, прямой, в чужом городе, и думала, что мы, наверное, похожи: оба учимся ходить по-новому, только он уже работает, а я пока учу слова. Немецкий я начала учить на третий день, потому что без него дом был неполный, как без двери: нашла на полке учебник, оставленный прежней квартиранткой, с картинками и таблицами спряжений, и каждое утро, пока закипал чайник, твердила слова, как молитву, — die Tür, die Geranie, der Balkon, der Markt, — и мне нравилось, что дверь, герань, балкон и рынок стоят в этом списке рядом, потому что это и был весь мой новый мир. Я учила их с утра до вечера, вполголоса, на кухне и в ванной, под нос себе, и Адриан говорил, что я разговариваю во сне по-немецки, и враньё это было такое тёплое, что я делала вид, что верю.

Примерно через неделю я решилась выйти к людям: спустилась во двор, где старуха с первого этажа выбивала ковёр, и сказала ей своё первое настоящее немецкое предложение: — Guten Morgen, — и она ответила, и голос у неё был такой, будто она всю жизнь ждала, что я скажу именно это. Я шла по Зонненаллее и считала, сколько раз смогу сказать guten Morgen, прежде чем собоюсь, — продавцу овощей, женщине с коляской, старику у газетного киоска, — и все отвечали,

все, ни один человек не нахмурился, и к концу улицы у меня дрожали колени, как будто я пробежала стометровку, и я поняла, что здороваться здесь — это как дышать, это никого ни к чему не обязывает и всё-таки делает тебя своей. В Дохе я не могла выйти из дома, чтобы не сказать, куда иду, зачем и когда вернусь, — здесь я выходила и никто не спрашивал, и эта свобода была такой острой, что я шла и улыбалась пустоте, и пустота улыбалась в ответ.

Рынок у Майбаха я нашла на второй неделе, случайно, когда пошла вдоль канала и заблудилась в собственных ногах: набережная, которую местные зовут Майбахом, два раза в неделю превращалась в плотный, крикливый, пахнущий на все голоса базар, и, когда я вышла к нему из-за поворота, у меня перехватило дыхание — не от красоты, от узнавания. Здесь торговали и кричали по-турецки, по-арабски, по-немецки, по-польски, и все эти языки перемешивались, как специи в одной плошке, и никому не было дела, кто ты и откуда, — спрашивали одно: что ты будешь брать. Я купила оливки у женщины в цветастом платке, которая угостила меня веточкой мяты — бесплатно, для чая, — и персики у старика, который крикнул мне вслед что-то длинное и доброе, и сыр у турчанки, которая смеялась моему произношению, но смеялась так, что хотелось ошибаться ещё; и я стояла на парапете канала, ела персик, пачкая соком пальцы, и смотрела на мутно-зелёную воду, по которой плыли листья, и думала, что вот так, наверное, выглядит надежда: когда чужой город

кормит тебя с рук, не спрашивая документов. На обратном пути я знала дорогу, и это было второе чудо за день — знать дорогу в городе, где ты никому ничего не должен.

Пончики я увидела в витрине пекарни на углу, у самого рынка, и остановилась, как вкопанная, потому что на картонке, приколотой к полке, было написано одно слово, — Berliner, — и я засмеялась вслух, на всю улицу, и прохожие обернулись, но никто не осудил, потому что в Берлине, кажется, все смеются над этим хотя бы раз в жизни. Я вошла внутрь, и там пахло тёплым тестом и сахаром, и пожилая женщина за прилавком смотрела на меня терпеливо и ждала, и я сказала: — Zwei Berliner, bitte, — и добавила, что с вареньем, mit Marmelade, и она спросила, с каким, но я знала только одно слово — Kirsch, вишня, — и она завернула мне два пончика в бумажный пакет, тёплые, посыпанные сахаром, и я вышла на улицу, и первый укус был таким, что я зажмурилась: тёплое тесто, сахарная корочка, вишнёвое варенье, которое брызнуло на подбородок, — и я стояла посреди чужой улицы с липкими пальцами и думала, что город, который называется как пончик, не может быть злым, потому что сладкое не умеет злиться.

Домой я принесла второй пончик в пакете, как трофей, и Адриан посмотрел на меня с порога, на сахар на моих губах, и сказал: — Ты ела пончик без меня. — Я ела, — сказала я. — Но один я тебе принесла. Он взял пакет, развернул его бережно, как письмо, и откусил, и мы стояли на балконе, в

сумерках, и делили этот пончик пополам, хотя делиться, по правде, было уже нечем, — и я сказала ему, что берлинер — это и житель Берлина, и пончик с вареньем, что город называется как пончик и что снаружи у него сахар, а внутри варенье, и никогда не знаешь, какое именно попадётся. — И это тебя не пугает? — спросил он. — Наоборот, — сказала я. — Мне нравится город, у которого внутри сладко. Он посмотрел на меня долго, так, как смотрел в Москве в первые дни, когда мы ещё боялись друг друга, и сказал, что ему нравится во мне эта штука: умение называть страшное сладким, и я ответила, что это не штука, это герань, — и мы оба посмотрели на горшок, и герань цвела, красная, упрямая, ни о чём не подозревающая.

Дальше недели пошли быстрее, и каждая была как урок немецкого: я учила по десять слов в день, и к концу октября словарь мой был маленький, но мой, — я знала, как сказать хлеб, молоко, вторник, пятница, канал, пекарня, и этого хватало, чтобы жить, а жить мне теперь хотелось каждый день. Я привязалась к рынку, ходила туда по вторникам и пятницам, как на службу, — женщина в цветастом платке узнавала меня и клала в пакет лишнюю веточку мяты, старик-персичник кричал мне что-то, чего я не понимала, но что звучало как приветствие, — и мало-помалу я перестала вздрагивать от резких звуков, от чужих шагов на лестнице, от звонка в дверь, который с первого дня казался мне чужим и требовательным. Адриану я сказала, что хочу записаться на курсы,

а потом и в университет, чтобы доучиться на врача, — он молчал, кивал, а потом сказал: — Мы здесь надолго, — и в голосе его было то спокойствие, с которым говорят о решении, уже принятом за тебя, и я кивнула, потому что это было то же решение, которое я приняла сама, просто мне было страшно произнести его вслух. Мама звонила по субботам, из Дохи, и голос у неё был ровный, как всегда, но я слышала в нём то, чего она не говорила, — страх за меня и гордость, которые не помещаются в один голос, — и я рассказывала ей про герань, про рынок, про пончики, и она смеялась моему немецкому, и смех её был мокрый, я знала. По вечерам мы с Адрианом сидели на балконе, укутавшись в одно одеяло, и смотрели, как зажигаются окна, и я думала, что у нас теперь тоже есть окно, которое загорается, — и что дверь у нас теперь открыта: не замок держит нас здесь, а то, что нам не нужно запираяться, и от этой мысли внутри что-то оттаивало и расправлялось, как лист герани, которому хватило воды.

Один из тех тихих вечеров я запомнила по минутам — не потому, что он был не похож на другие, а потому, что был похож на все наши вечера сразу и всё-таки отличался, как один отпечаток пальца отличается от другого: тем же рисунком, но другим человеком.

Адриан вернулся из клиники позже обычного и принёс в кармане куртки кулёк каштанов, которые на мосту продаёт старик с жаровней; каштаны ещё держали тепло, и я жгла о них пальцы, пока разворачивала, а он смотрел на это, как

смотрят на маленький пожар, который никому не угрожает. За чаем он сказал, глядя в кружку, ровным голосом, каким сообщают о перевязках:

— Сегодня старуха с первого этажа спросила меня, давно ли мы женаты.

— А ты?

— Сказал, что мы не женаты. Что мы живём вместе. — Он повертел кружку и поставил её точно между двумя тёмными кольцами на столе. — Она ответила, что в её время это называлось одним словом. Я не стал уточнять каким: боюсь, оно мне не понравится.

— Почему?

— Потому что оно про людей, которые делят аренду. — Он посмотрел на меня тем же выражением, с каким однажды разглядывал редкий снимок: сосредоточенность и жадность. — Мы не делим аренду, Жасмин.

Я засмеялась и бросила в него каштановой скорлупой; он поймал её на лету — у него всегда были быстрые руки, — и положил на стол рядом с кружкой, и мы оба посмотрели на эту скорлупу, как будто она была уликой.

Дальше вечер пошёл по обычному кругу: я мыла посуду, он вытирал, споря со мной о том, как правильно складывать полотенце; за стеной бормотал чужой телевизор; над каналом шёл дождь, неслышный в этих стенах; город за окном пах мокрым камнем и поздними листьями, — и не было в этом кругу ничего особенного, кроме того, что на середине

движения я вдруг поймала себя: я стою в тёплой кухне, в чужом городе, с полотенцем в руках, и человек, которого я люблю, смотрит на меня так, как будто я — единственное, что происходит в мире.

— Что? — спросила я.

— Ничего. — Он забрал у меня полотенце и повесил его ровно, как в клинике, где всё висит ровно, потому что от этого зависит чья-то жизнь. — Просто думаю, что старуха всё-таки права, и мне это не нравится.

— В чём она права?

— В том, что у всего должно быть название. — Он подошёл и убрал с моего лица прядь; пальцы у него были ещё холодные с улицы, и от этого прикосновения дыхание у меня сбилось на середине. — Ты называешь меня по имени. Я называю тебя по имени. А как называется то, что происходит?

— Не знаю, — сказала я, и это была правда: в Дохе за меня всё называли, и слов у меня тогда было больше, чем правды, и все они были чужие. — А как бы ты назвал?

Он молчал долго — так долго, что чайник за его спиной успел щёлкнуть, остывая. Потом сказал:

— Я бы назвал это домом. Но не тем, куда приходят спать. Тем, куда возвращаются.

И, может быть, это было ничем — слова, которых в моей жизни всегда было слишком много, чтобы верить им всерьёз, — но он сказал их своим ровным, неудобным, честным голосом, каким говорил о вещах, за которые отвечает, и от

этих слов внутри у меня что-то встало на место, как встаёт на место вывихнутое: больно и правильно.

Он поднял меня на руки — я оказалась легче, чем сама о себе думала, — и через тёмную квартиру нёс бережно, как носят то, что боятся уронить. Дальше я помню не порядок, а отдельности: как кружка осталась недопитой на кухонном столе; как за стеной щёлкнуло — соседский телевизор наконец умолк, — и дом затих; как за окном шёл дождь, неслышимый в этих стенах. В Дохе любовь была комнатой, которую сдавали внаём, и за дверью всегда стоял кто-то с ключом; в Москве — комнатой, которую в любой день могли отобрать; а здесь у нас впервые была своя дверь, а за ней — никого.

Он не торопился — и мне не давал: каждое движение было медленным и обдуманым, как всё, что он делал руками, и слова у него были простые и короткие, и от них у меня под кожей вспыхивало, потому что он говорил их тем же голосом, каким говорил «я держу тебя» в самые тяжёлые ночи.

— Смотри на меня.

— Смотрю.

— Скажи, что хочешь меня.

— Хочу. Тебя.

— Скажи ещё раз.

— Хочу. — И это короткое слово выходило из меня так, как будто я впервые произносила его вслух после долгого молчания; может, так и было: в Дохе желание было запретом, в Москве — тайной, и только здесь стало тем, что можно

сказать голосом.

— Вот так, — выдохнул он мне в шею, и от этого короткого слова у меня по спине прошла дрожь, не имеющая ничего общего с холодом.

Когда я попробовала звук — а звук вышел громче, чем позволяли эти стены, каждая из которых знала про нас всё, что можно знать про людей, живущих рядом с людьми, — он накрыл мне рот ладонью, и в этом жесте не было запрета; в нём было обещание, что всё, что я не сумею удержать, он поймает и оставит себе.

— Тише, — сказал он. — Я не собираюсь делиться тобой с домом.

И я засмеялась ему в ладонь и укусила за основание большого пальца, и он беззвучно, одними губами, выругался — коротко и точно, как ставят диагноз.

Потом были только дыхания, и шёпот, и тишина, в которую мы оба провалились, как в воду, — и в этой воде не было ни Дохи, ни клетки, ни чужих решений: впервые за все эти годы никто не выбирал меня и не отдавал мне приказаний. Я сама.

Мы лежали в темноте: он на спине, я — щекой у него на груди, слушая, как под кожей ровно и медленно возвращается его пульс. За окном дождь перестал; из кухни тянуло остывшим чайником и каштанами; герань на подоконнике стояла тёмным силуэтом в свете фонаря, и один её лист был примят, я видела.

— Жасмин.

— М.

— Ты сегодня называла Доху по имени, — сказал он в потолок. — Во сне. Так, как будто разговаривала с кем-то.

Я не стала притворяться, что не поняла.

— Я не помню.

— И не надо, — сказал он. — Я просто хотел, чтобы ты знала: здесь твой сон принадлежит тебе. Имя можешь оставлять какое захочешь.

Он был смешной и серьёзный одновременно — и это, наверное, самое точное описание любви, которое я знала: когда кто-то говорит тебе такие вещи простым, будничным голосом, каким сообщают об операциях и счетах, и ты понимаешь, что за это не надо платить.

Я лежала у него на груди и думала, что в Дохе я была выбранной — так выбирают камни для украшения: долго, придирчиво, в назидание другим. Здесь меня никто не выбирал. Здесь я выбрала сама, каждый шаг, — и меня выбирали в ответ, каждый день, заново, без расписки и печати. Разница между этим и клеткой была во всём: в воздухе, в стенах, в тонком одеяле, которое мы тянули друг у друга, споря тихо, кому оно нужнее, — и в том, что утром я могу уйти. Могу — и знаю это. И остаюсь.

Я уснула без снов — впервые за всё это время. А утром, когда я открыла глаза, его уже не было: он ушёл в серую рань, не разбудив; на столе стояла чашка с остывшим чаем — вто-

рую кружку он всегда мыл и ставил рядом, потому что мы пили чай парой, с тех самых пор, как купили их в магазине за углом, — и лежал кулёк с пятью каштанами, отложенными с вечера: пять тёплых ядер, которые он выбирал на ощупь. Я ела их на балконе, в серое берлинское утро, и смотрела, как во дворе старуха с первого этажа выбивает ковёр, и думала, что вот так, наверное, и выглядит счастье: пять каштанов, один примятый лист герани, который надо расправить, и человек с быстрыми руками и ровным голосом, который среди ночи назвал нашу жизнь домом — и не взял слов назад.

А в среду Адриан остался на дежурстве, и я впервые за много недель осталась одна, и это тоже было по-новому: я не боялась одиночества, я любила его, как любят дверь, за которой можно побыть собой. Я полила герань, вымыла посуду, села на кухне с учебником и учила слова, — *der Anruf*, звонок, *das Telefon*, телефон, — и, когда телефон зазвонил на столе, я вздрогнула так, что уронила ручку, потому что не ожидала: мне никто не звонил, кроме мамы, а мама звонит по субботам, и была середина недели. Я посмотрела на экран, и номер был чужой, длинный, с незнакомым кодом, — и пока я смотрела, звонок оборвался, сам, на втором гудке, как будто тот, кто звонил, передумал или просто проверял, жива ли я. В тишине кухни было слышно, как потрескивает холодильник, и я стояла, держа телефон в руке, и смотрела на цифры, и не могла понять, почему у меня дрожат пальцы, а потом поняла, потому что узнала код: 974, Катар, До-

ха. Я сказала себе, что это ошибка, что международные номера ошибаются так же часто, как и местные, что у меня новый номер, который знают два человека, мама и Адриан, и что Доха не может найти меня здесь, потому что я сама себя не могла найти первые две недели, — и всё равно стояла и смотрела, как гаснет экран, и в темноте стекла отражалась моя кухня, и моё лицо, и красная герань на балконе за моей спиной. Я велела себе не думать о человеке, который умеет ждать, — и, конечно, подумала, потому что запретное думается само, и я стояла в своей светлой кухне, в городе, который называется как пончик, и слушала, как остывает чужой звонок, и впервые за всё это время, за все эти тихие недели, мне захотелось запереть дверь. Я не заперла. Но впервые — захотела.

И, уже ложась спать, я подумала о том, что у герани, оказывается, очень чуткие корни: её переставили, пересадили, полили чужими руками, а она цвела, как ни в чём не бывало, — и я решила, что буду как она: переставленная, персаженная, но цветущая, — и что завтра утром я снова скажу Guten Morgen старухе с первого этажа и пойду на рынок, и куплю оливки и персики, и буду учить слова, потому что у меня теперь есть жизнь, за которую стоит запирать дверь, — а значит, стоит и не запирать её, чтобы в неё можно было вернуться.

Глава 2. Немецкий язык

Адриан:

Утро начинается с кофе и с чужого языка. Я встаю раньше Жасмин, варю кофе, сажусь у кухонного окна и слушаю новости по радио, как музыку, которую надо выучить наизусть: диктор говорит быстро, гладко, с тем идеальным произношением, которого у меня не будет никогда, — я понимаю половину, вторую додумываю по интонации, а интонация немецких новостей ровная, как у врача, который сообщает плохое: всё под контролем, всё уже случилось, всё будет хорошо. За окном просыпается наш Нойкёльн: гремят ставни, кто-то кричит на турецком, кто-то на арабском, кто-то на немецком, который и мне, и им всем — чужой; в доме напротив женщина поливает герань, такую же красную, как наша, и я думаю, что герань, наверное, единственное растение, которое понимает все языки сразу, потому что ей всё равно, кто её поливает, лишь бы поливали.

На работу я еду на велосипеде, через Нойкёльн, мимо доверных и лавок с золотом, через мост, под которым течёт Шпрее, и дальше, в Митте, где стоит клиника, в которой немецкий для меня не язык, а рабочая одежда: надеваешь утром, снимаешь вечером. Я выучил его не для того, чтобы говорить, — я выучил его, чтобы не ошибиться, потому что слова здесь похожи на инструменты: у каждого своя форма,

своё место, своя цена, и цена эта платится не в разговоре, а в тишине, которая наступает после него. Со мной по-немецки говорят медленно, как с человеком, который недавно очнулся после наркоза, и я давно смирился с этой вежливостью, потому что в ней есть своя правда: я здесь и есть ребёнок — взрослый, с дипломом и с руками, которые помнят тысячи операций, но язык мой так и остался на уровне школьной тетради, где слова записаны в столбик и ещё не выучены. У подъезда меня окликает фрау Ковальски с первого этажа, сушит ковёр на перилах, хотя погода не для сушки, и я горжусь её улыбкой больше, чем любой статьёй, потому что она означает: меня приняли, — хоть название собственной улицы, Зонненаллее, я до сих пор выговариваю с чужой интонацией, и солнце, которое живёт в её названии, не хочет звучать по-моему. В клинике меня ждёт обход: доктор Бреннер, заведующий отделением, идёт впереди, я — за ним, как тень, которая старается не отстать: говорит он быстро, глотает окончания, и из его потока я выхватываю половину, вторую додумываю по контексту, по лицу сестры, по палате, в которую мы входим. Это не смертельно: главное решается в операционной, где всё продублировано и перепроверено, — но осадок от недопонятого слова копится в течение дня, как мелкая сдача в кармане пальто, и к вечеру я чувствую его вес. По-русски я мог бы переспросить, мог бы поспорить, мог бы съязвить, — по-немецки я только киваю: ja, — и кивок этот пожирает меня изнутри, потому что за ним стоит не согла-

сие, а усталость от перевода, а усталость, я знаю по опыту, — первая ступень к ошибке.

Стипендия, которая привела меня в Берлин, — исследовательская: три года, грант, кабинет в лаборатории, белые крысы в тёплых клетках и статьи, в которых моя фамилия вклинивается между немецкими, как русское слово в немецком предложении. Половину недели я провожу в чистой тишине науки, где говорят по-английски, по-международному, и вздыхаю, как человек, снявший тесные ботинки, — но стипендии не хватает на нас двоих, да и я не умею жить, не режа: руки без скальпеля заросли бы тоской, это не метафора, это физиология, я проверял. Поэтому вторую половину недели я стою в операционной: утром исследую, как заживают раны, вечером эти раны наношу и зашиваю, и между двумя мирами нет моста, кроме меня, и мост этот держится на перилах чужого языка. Моя тема — заживление: я смотрю в микроскоп, как организм строит себя заново, из ничего, из клеток, из памяти, — и иногда думаю, что хотел бы уметь так же: заживать и не оставлять рубца. Но рубцы у меня есть, я привёз их из Москвы вместе со страхом ошибки, моим самым старым пациентом, который не выписывается и не умирает. Француженка Ивонн из лаборатории сказала мне однажды, что я говорю по-немецки, как человек, который боится, что его поймут, — и она попала в точку: я боюсь точных слов, потому что за языковой барьер не спрячешься, когда что-то пойдёт не так, а что-то идёт не так каждый день — в этой

профессии, в этом городе, в этом языке. Документы я пишу со словарём, каждая бумага для меня маленькая операция, в которой нельзя ошибиться ни в одной букве: в немецком одна пропущенная буква превращает слово в чужой диагноз; Бреннер однажды поправил мою запись — просто перечеркнул и написал сверху, — и эта строка до сих пор стоит у меня перед глазами, как шрам на чистой коже.

Операция во вторник, холецистэктомия, женщина пятидесяти лет с глазами цвета осенней воды; её везут в операционную, она смотрит на меня снизу вверх из-под простыни, и я говорю ей что-то спокойное по-немецки: всё будет хорошо, вы скоро проснётесь, — и голос мой звучит ровно, хотя внутри я считаю: ноль, один, два, три, — я всегда считаю перед операцией, это не ритуал, это якорь, — и счёт успокаивает меня лучше любого препарата. Я мою руки, две минуты, как учили, вода тёплая, мыло, щётка, — и смотрю на свои пальцы, тонкие, аккуратные, чужие в этом белом свете: вот мои инструменты, моя гордость и моя вина, всё, что у меня есть, кроме языка, на котором я не смогу их оправдать, если что-то пойдёт не так. В операционной пахнет озоном и холодом, лампы льют белый свет, сестра Зигрид раскладывает инструменты, не глядя, — она работает со мной полгода и знает мои привычки: подаёт скальпель рукояткой вперёд, молчит, когда я молчу, — и я благодарен ей за это молчание: в нём нет ни жалости, ни снисхождения, только работа.

— Bereit? — спрашивает анестезиолог, доктор Ланге, и я

киваю, и она начинает считать вслух, по-немецки: eins, zwei, drei, — и цифры её ложатся мне в голову, как камни, и в который раз ловлю себя на том, что считаю вместе с ней, что немецкий вьелся в самую старую, доязыковую часть меня, — и от этого мне почти грустно, как от прощания с чем-то важным. Я делаю первый разрез — ровно, уверенно, как делал тысячу раз, — и кожа открывается, и клетчатка, и я работаю, а вокруг звучит немецкая речь, быстрая, деловая, спокойная, и я понимаю её уже не переводом, а кожей, как понимают команды в оркестре, — и на миг мне кажется, что я справился, что язык отступил, что я здесь свой, — и в этот миг всё и случается. Кровотечение начинается тихо, из глубины раны, тёмной, ворчливой струёй, как вода из-под льда, — и я чувствую, как всё во мне собирается в одну точку, как адреналин входит в кровь раньше, чем я успеваю его позвать, — и Ланге говорит быстро, резко, и я слышу слово links, левая, — и на долю секунды, на ту единственную долю, которую нельзя ни купить, ни выпросить, мой мозг переводит: links — лево, — и рука уже там, уже зажимает, уже давит, уже останавливает тёмную струю, и я понимаю, что перевёл не головой, а рукой, что тело моё выучило этот язык раньше сознания, — и от этого мне легче, чем от любых слов, которые я знаю в обоих языках. А ещё я замечаю, что думаю по-немецки: спокойно, всё под контролем, — и эта мысль на чужом языке пугает меня больше, чем кровь, потому что означает: граница, которую я держал целый год, — граница

между мной и этим языком — где-то уже стёрлась, и я не заметил, когда именно.

Бреннер стоит рядом и молчит, и молчание его я принимаю как оценку, как слово на языке, который я ещё не выучил; я довожу операцию до конца, накладываю швы, быстро и ровно, — и, когда последний узел затянут, снимаю перчатки, и руки у меня дрожат, всегда дрожат после, это не страх, это адреналин выходит, как вода из-под льда, — и я стою у мойки, смотрю на тёплую воду и думаю, что завтра будет другая операция и послезавтра другая, что страх ошибки не уходит, он просто ждёт в прихожей, пока я живу, — и что это, наверное, и есть цена за право держать скальпель: в Москве, в Берлине, где угодно, даже в языке, где лево и право звучат не так, как учили. В раздевалке Бреннер проходит мимо и бросает короткое *gut gemacht*, хорошо сделано, — и я киваю, и думаю, что руки у меня всегда были хорошие, дело было не в руках: дело в доле секунды, когда слово *links* ещё не стало левой стороной, — и я знаю, что однажды этой доли может не хватить, и что именно она и станет моей ошибкой — не в Москве, не на моём языке, а здесь, на чужом, где я пойму неправильно или меня поймут неправильно, и цена будет той же.

Когда я выхожу из клиники, уже совсем темно, и октябрьский ветер несёт запах листвы и дизеля. Я иду к стоянке, где оставляю велосипед, и на повороте замечаю машину: тёмный седан, почти чёрный, с тонированными стёклами, сто-

ит метрах в тридцати от входа, двигатель работает, из выхлопной трубы поднимается пар, и я вижу силуэт водителя, неподвижный, как человек, который ждёт не здесь и не сейчас, а вообще. Я прохожу мимо, не замедляя шага, — я умею смотреть, не поворачивая головы, этому меня научили годы у операционного стола, — и успеваю заметить номер: белая табличка, и среди букв и цифр — арабская вязь, которую я узнаю не читая, потому что видел такие в Дохе, в той жизни, которая принадлежит Жасмин и которую я знаю только снаружи, как знают фасад чужого дома — красивый, светящийся, за которым не видно ни комнат, ни людей. Катар. Я отпираю велосипед и еду домой, и сердце моё стучит ровно, слишком ровно, как перед операцией, и я считаю педали: ноль, один, два, три, — и стараюсь не думать о том, почему машина с катарскими номерами стоит у обычной берлинской клиники, где работаю я, русский хирург, которому до этого Катара нет и не должно быть дела.

Дома меня ждёт Жасмин, и, когда я открываю дверь, из квартиры пахнет жареным луком, тмином, чем-то тёплым и домашним, — и это, наверное, единственный запах, который я выучил за год берлинской жизни по-настоящему, потому что всё остальное пахнет здесь чужим: улицы — дизелем, клиника — стерильностью, язык — новыми словами, — а она пахнет домом, где бы мы ни жили: в Берлине ли, в Москве ли, в той стеклянной башне на пятьдесят четвёртом этаже, о которой она рассказывает редко и коротко, как

рассказывают о болезни, которая уже прошла. Я снимаю ботинки, вешаю пальто, и она выходит из кухни, вытирая руки о фартук, и целует меня, — и весь день, весь этот длинный день на чужом языке сворачивается, как стопка бумаг, и уходит.

— Ну, — говорит она, не оборачиваясь, возвращаясь к плите, — как твоя война?

Войной мы называем операционную, это наш код, и я отвечаю:

— Сегодня выиграл. Жёлчный пузырь сдался на середине. А у тебя?

— У меня лекции, — она смеётся, и смех её, низкий, тёплый, с хрипотцой, — единственная музыка, которую я могу слушать бесконечно, потому что она не требует перевода, — и профессор, которого я ненавижу, и латынь, которая меня убьёт, если я её не выучу.

Латынь — наша общая территория: я помогаю ей зубрить названия мышц и нервов, и это единственный язык, на котором мой акцент не хуже её, потому что латынь мертва и никому не принадлежит, и на ней одинаково ошибаются все: и немка, выросшая на Шпрее, и арабка, выросшая у залива, и русский, выросший в Москве. Мы сидим на кухне, раскладываем карточки с терминами, я диктую: *musculus*, *nervus*, *carpus*, — а она повторяет, и мы оба смеёмся над моим произношением, и в этом смехе есть что-то такое, чего нет ни в одном языке мира: общий дом, построенный из ничего, из

двух чемоданов, из чужого города, из красной герани на подоконнике.

— Мы строим его из слов, — сказала она, когда мы засиделись над карточками.

— Что строим?

— Дом. Свой. Каждый день по десять кирпичей — какие-то на стены, какие-то на окна.

Мы зубрили слова, как зубрят анатомию: der Schlüssel — ключ, die Tür — дверь, die Kerze — свеча. Она смеялась, что у людей, которые столько лет прожили в запертых домах, первыми в словаре идут ключ и дверь, а свеча выучилась последней, — и что это неправильно: свет должен идти раньше. Я сказал, что свет мы принесли с собой, а слова — просто подписываем.

— Какие слова идут на несущие стены? — спросил я.

— «Держу». «Останусь». «Мой». — Она загибала пальцы, как загибают, когда считают. — И одно я оставляю напоследок: хочу сказать его без акцента.

Напоследок она произнесла по слогам, очень старательно, глядя не на карточку, а на меня:

— Zuhause. Дом.

— Это не «дом», — сказал я. — Это «дома». Разница как между адресом и объятием.

Она повторила ещё раз, уже без запинки, и слово легло на стол между нами, как ключ, который наконец подошёл к замку.

Потом мы ужинаем. Она готовит рис с овощами, остро, по-своему, как готовила в Дохе, — и рассказывает про университет, про однокурсников, которые говорят на таком быстром берлинском, что она, выросшая на арабском и английском, чувствует себя глухой, — и я смеюсь, потому что знаю это чувство, оно у нас общее, как общая рана, — и я смотрю, как она подбирает волосы, отставляет чашку, щурится, когда улыбается, — и думаю, что из всех слов, которые я выучил за год, ни одно не стоит этой тишины, в которой мы понимаем друг друга без словаря. А потом, когда чай уже налит и свет в кухне стал ниже, она говорит, глядя в свою чашку:

— Мама звонила.

И я сразу понимаю, о чём речь, потому что Мариам звонит каждую неделю, из Дохи, и в каждом разговоре есть одна и та же нота, как в настройке, которую нельзя сбить: она спрашивает про внуков. Я молчу и жду, потому что это её звонок, её мама, её новость, и говорить здесь должен не я.

— Она спрашивает, — продолжает Жасмин, — когда у нас будет ребёнок. Ей снятся внуки, представляешь? Двое. Мальчик и девочка. Она уже придумала, как их назовёт.

— Мариам всегда была с характером, — говорю я.

— Она была с характером всю жизнь, — Жасмин улыбается в чашку, — и я люблю её за это. Но я не хочу, чтобы мы родили ребёнка, потому что мама хочет внуков. Я хочу, чтобы мы родили, когда будем готовы. Если будем.

Она говорит, а я слушаю, и я знаю, что она права, и всё-таки внутри у меня что-то шевелится, тёмное и старое: мысль о том, что готовность — это слово, которым люди прикрывают страх, и что я, может быть, не буду готов никогда, потому что каждый день в операционной учит меня одному и тому же: ты отвечаешь за каждое своё движение, и одно неверное — и всё, — и как же я научу этому ребёнка, которого не умею даже окликнуть на языке его будущей улицы? Ребёнок, родившийся здесь, заговорит сначала по-немецки, как говорят дети этого города, — и я, его отец, буду учить его язык по учебнику, с ошибками, с ударениями на чужие слоги, — и он будет смеяться над моим произношением, и это будет справедливо, и от этой мысли мне становится тесно, как в перчатке на размер меньше. А вслух я говорю:

— Мне нужно сначала выучить язык, на котором он будет плакать.

Она смеётся коротко, тепло, как смеются над шуткой, попавшей в самую точку, — а потом становится серьёзной, и я вижу, как она смотрит на меня, взвешивает что-то про себя, и я жду, потому что с ней нельзя торопиться: с ней договариваются, как с собственным сердцем, по-хорошему, без давления.

— Пока нет, — говорит она тихо, почти шёпотом, и кладёт ладонь на мою. — Мы только начали. Мы ещё учимся жить в одном городе, на одном языке, в одной постели. Пусть у нас сначала будет жизнь, из которой можно будет что-то отдать.

А мама подождёт. Она умеет ждать — она всю жизнь меня ждала.

И я киваю и держу её руку, просто держу, не говоря ничего, потому что есть вещи, которые нельзя сказать ни на одном языке: их можно только держать в ладони, как тёплую чашку, — и все немецкие слова, выученные мной за год, не стоят одного этого молчания. Потом она убирает со стола, мою посуду — у нас так заведено, — и вода течёт тёплая, и за окном гудит чужими голосами наш Нойкёльн, и я почти счастлив, почти, — потому что краем глаза, через кухонную дверь, замечаю то, чего не должен был замечать.

Она стоит у комода, в гостиной, спиной ко мне, и что-то прячет: белый прямоугольник, конверт, который она быстро, ловко, как прячут не от меня, а от света, суёт между страницами толстой книги на краю полки, — и я вижу, что на конверте нет марки, нет штемпеля, нет обратного адреса, только её имя, написанное от руки, чужим почерком, — и я понимаю, что такой конверт не приходит по почте: такой кладут в руку, такой передают лично, тихо, без слов, — и вопрос застревает у меня в горле, как заноза. Я мог бы повернуться, мог бы подойти, мог бы открыть эту книгу и посмотреть, кто пишет ей, — и я не делаю ничего. Я стою у раковины, вода течёт по пальцам, тёплая, и я смотрю на пену и думаю: есть вещи, которых нельзя касаться, если не готов к ответу; есть двери, которые открываются только с той стороны; есть пространство, которое принадлежит ей, — и я обещал себе,

когда мы начинали, обещал молча, на том языке, на котором молчат, что не стану тем, кто проверяет её телефон, кто открывает её почту, кто считает её шаги; я видел слишком много семей, где любовь превратилась в слезку, и я не хочу так, — я лучше буду бояться неизвестного, чем знать всё и потерять её доверие, потому что доверие — это единственный язык, на котором мы с ней говорим без словаря, и не имею права перевести его на тот, где я до сих пор ошибаюсь. Глаз у меня натренированный, я замечаю такие вещи не потому, что хочу, а потому, что так устроен мой глаз: асимметрию на снимке, бледность под маской, лишний инструмент на столе, — и конверт этот я теперь буду видеть каждый раз, когда пройду мимо полки, и каждый раз буду оставлять его там, где она его спрятала.

— Жасмин, — говорю я, не поворачиваясь, — чай будешь?

— Буду, — отвечает она, и голос у неё ровный, как будто ничего не случилось, — и я слышу, как закрывается книга, как она отходит от комода и садится за стол, — и я наливаю ей чай, и герань на подоконнике краснеет в жёлтом свете, и мы сидим в кухне, и я не спрашиваю, и она не говорит, и в этом молчании есть что-то дороже любых признаний: доверие, которого я ещё не заслужил, но уже не хочу потерять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.